



Виктор  
СОСНОРА

# ДЕНЬ БУДДЫ

Графика  
Аллы  
ДЖИГИРЕЙ

Предваряя журнальную публикацию "Дня Будды", хочется привести дословный рассказ самого автора о тогдашних идиотско-жутких, а сегодня воспринимаемых в духе "черного юмора" злоключениях вокруг радиопубликации этой повести.

Виктор Соснора вспоминает: "В 1979 году я читал курс лекций в Париже, в Венсенском университете. Во время интервью на радио мне, между прочим, был задан вопрос:

— Вас не печатают в СССР. Почему?

— Видимо, потому, что это не согласуется с официальной линией литературы.

— Но Вас не арестовывают, как Синявского и Даниэля. Почему?

— Видимо, потому, что я не диссидент.

— Что такое диссидент?

— Думаю, это тот, кто подчинил свою жизнь борьбе с властью. Я же не столько о себе думаю, чтобы зачислить себя в борцы. Я борюсь только с демонами своей фантазии.

— Разве Вы не против коммунизма?

— Нет. Я о нем просто не думаю. Моя профессия — писать.

— У нас есть Ваши рукописи. Вы не против, если мы напечатаем их на Западе?

— Я не юрист и не имею права ни разрешать, ни запрещать.

Разговор был обыкновенный. Я вернулся в Ленинград и забыл о нем. Это было в мае. В октябре одна из моих студенток привезла мою книгу, напечатанную во Франкфурте-на-Майне в издательстве "Посев". Я ждал вызова. Но ничего не последовало. Летом 1980 года начались Олимпийские игры в Москве. В день открытия этих пресловутых игр-эмбарго Би-Би-Си начало передавать мою повесть "День Будды" на всех языках народов СССР. Без комментариев. 24 дня шли игры, и каждый день вся страна слушала по главе из "Дня Будды". Это было очень мило, но все же каждый день я ждал вызова. Я был спокоен. "Поехали!" — как сказал Юрий Гагарин.

Последний день Олимпиады — конец чтений. Звонит Анатолий Чепуров, тогдашний Первый секретарь Союза писателей Ленинграда. Он был человеком доброжелательным и много мне помогал.

— Вита, — сказал он, — тебе придется пойти, и ты знаешь почему. На учеты — я один.

Я пришел. Чепуров сидел тревожный, из-под стола торчали коленки. Я пощупал.

— Это мои коленки, — сказал он. — Никого нет, мы только двое. Магнитофона нет, все чисто.

Говори.

— Задавай уж вопросы, Толя. Я принес повесть. Почитай.

Он замахал руками:

— Я не слушал твою повесть и читать не буду. Нужно твое честное слово, и ничего более. Ходят слухи, что в своем "Будде" ты поливалешь Ленина и КГБ.

— Толя, — сказал я. — Я пишу о Ленине вот что: У Финляндского вокзала поставили еще один памятник Ленину, 2578-ой, самый большой, и это хорошо.

— И это хорошо? — засомневался Чепуров. — Это действительно хорошо. А КГБ?

— Я пишу: интересное по своей архитектуре здание КГБ.

— И все? А о них, о самих?

— Ни слова. Что я о них знаю?

— Симпатично, — сказал Чепуров. — Но ты еще пишешь, что девочки во главе с комсаргом демонстративно отдались мальчишкам из нахимовского училища на чердаке в День Революции!

— Пишу. И ты эту историю прекрасно знаешь. Но я пишу: отдались в Юбилей. Никакого Дня Революции там нет.

— Точно нет?

— Я открываю страницу.

— Не открывай! — сказал Чепуров. — Спасибо тебе, Вита. Ты меня сильно выручил.

— Толя, я тебя не выручал, я просто говорю правду.

— Я верю! — сказал он. — Спасибо.

— Спасибо и тебе, Толя.

Мы разошлись.

В 1981 году, когда у меня была клиническая смерть в Тарту, Юрий Лотман, либеральный профессор Тартуского университета, наотрез отказался идентифицировать мою личность, а официальный Секретарь Ленинградского СП Анатолий Чепуров ринулся в Инстанции и немедленно прислал визированную телеграмму в больницу, и это спасло меня от настоящей смерти. Ведь медки спасали людей тоже по телеграммам.

После этой истории с Би-Би-Си меня 6 лет не печатали, до перестройки. Но не надо искать бесов там, где их не было.

Записал В. Широков

... Если у тебя рука ранена,  
в ней нельзя нести яд.

Дхаммапада

\*\*\*

Я живу в каменном доме, который, кажется, называется крупноблочным. Впрочем, эти блоки — не камни. Это какие-то окаменелости, спрессованные из всевозможных "стройматериалов". Капитальный срок таких домов — двадцать лет. Потом они начнут распадаться на свои составные части и частицы, — перспектива превосходная.

Я живу в девятиэтажном доме на девятом этаже в отдельной двухкомнатной квартире с балконом. В этом доме у всех — отдельные квартиры. В нашем районе наш дом — единственный некооперативный. То есть его строили с расчетом продать кооперативщикам, но в последний момент Инстанции заселили дом членами Союза писателей, председателями каких-то обществ, секретарями инстанций, служащими собаководства и инвалидами. Инвалиды живут на первом этаже, мы — на остальных.

Триста семьдесят восемь квартир, в каждой дети, дети ходят в одну школу, через двадцать лет классовая структура нашего дома приобретет еще более демократический характер: дочери служащих собаководства станут женами сыновей членов Союза писателей, а сыновья инвалидов совокупеются с дочерьми Инстанций, — чего же лучше может быть, как не такая демократизация общественных отношений, никаких конфликтов, социальный мир и взаимопомощь.

К сожалению, как раз в этот момент наш дом развалится, но ничего, мы не растеряемся, мы построим другой дом, еще более благоустроенный и пригласим членов Союза композиторов и работников городского Почтамта, — все это, конечно, при условии, что часть наших семей спасется из-под обломков архитектуры.

Я живу только три года в этом доме, это еще инкубационный период, когда все лихорадочно и вдохновенно узнают друг о друге.

Вот и все и всё знают. Дом — деревня, дом — девятиэтажная коммунальная квартира, дом — Общество.

\*\*\*

По утрам на скамейке у нашего подъезда сидит колека. По лицу не поймешь, какого пола это существо. Его приносят утром, уносят на обед, приносят, и оно сидит до вечера. У него личико, как у лилипута, желтые злые глаза, косынка до глаз, ножки болтаются, маленькие, в ботах с пряжками. Оно сидит, как птица сова, символ дома, — несчастный уродец с морщинистыми губами и немой. Но я однажды слышал, как оно заговорило. Какая-то девочка, лет семи, школьный портфель, прекрасные волосы, несла мороженое в картонном стаканчике, попросила с детской вежливостью:

— Подвиньтесь, пожалуйста, я съем мороженое и уйду, — повторила: — Подвиньтесь, пожалуйста, бабушка.

Оно встрепенулось, перья взъерошились, оно ухнуло по-свиному:

— Пошла прочь, сучка, я не бабушка, я — девушка.

Девушка сидит по двенадцать часов у подъезда и все обобщает: кто с кем, кто кого, кто к кому? Мимо нее проходят, как виноватые, опустив глаза, выравнивая шаг, боясь пошевелить рукой. Один музыкант, флейтист, который жил в нашем подъезде, не вынес, поменял квартиру. Ее любят лишь дворники, они — осведомители, она, естественно, недремлющее око. Дворники и выносят ее по утрам из однокомнатной квартиры, — уж Бог знает, чем она там занимается, может быть, берет скакалку и

прыгает и хохочет над всеми нами, сбрасывает парик и снимает искусственную кожу с лица, а по ночам устраивает оргии для сержантов милиции (бывают ведь и такие случаи). Как бы то ни было, ее почему-то никто не жалеет, но все побаиваются.

\*\*\*

Недалеко от нашего дома — питомник. Там выращивают саженцы различных деревьев, не только фруктовых. Там аллея тополей, яблоневая аллея, травяные полянки и небольшие каналы, кусты жасмина, сирень.

Летом питомник — форум алкоголиков нашего дома. Пьяницы пьют вермут и принимают солнечные ванны. Одинокие девушки, золотоволосые и золототельные, пьют водку в кустах, падают под солнцем и засыпают. Группы македонских юношей пьют коньяк, с подкупающим доверием поглядывая по сторонам. Все бросают в небо мяч, но мало кто его ловит, бросят и забудут — какая-то марсианская, что ли, игра. Мячи собирают старухи-пенсионерки, мячи и бутылки. Не знаю, куда они девают мячи, а бутылки — знаю, в приемные пункты. Кремль из бутылок не соорудишь, но прожить можно. Одна старуха, в прошлом ткачиха, член бригады коммунистического труда, как-то призналась, что теперь по утрам она позволяет себе сардельки. Это хорошо.

Белая ночь, бред.

Белая бессонница.

Наш квартал — зеленоватая пустота, лишь на асфальте у мертвого фонаря — невеста на лакированных каблучках, платье бьется, крылатые руки, развевающаяся фата, — первая ночь медового месяца.

Цветет жасмин. Развернутые цветы диких роз. На балконе распустились альпийские фиалки, триумфальные листья лаврового плюща.

Наш квартал: дома — шахматные доски, черно-белые.

Сейчас Раскольников пробирается к старухе, ошупывая ледяной рукой теплый топор под мышкой, осматриваясь — о впереди! — что? — все: слава, любовь, свобода. Но единственное препятствие — старуха. Преступленья — нет, плевать на наказание! Убей старуху! Вон внизу под моим балконом ходит старуха. На ней красный плащ, у нее лысая голова. Она собирает в нашем питомнике бутылки из-под водки, оставленные ангелами, и продает в приемные пункты, — так я думал. Да, бутылки она собирает, но не продает, а разбивает их на улице о барьерчики мостовой и идет дальше. Зачем разбивает бутылки старуха, никому не известно. Только дворники в зеленых фуфайках матерятся по утрам, подметая стекла. Неизвестно, — так я думал. Известно. Старуха разбивает бутылки на мостовой, потому что по мостовой гуляют собаки, а старуха собак ненавидит. Бедные псы нашего квартала — все с перевязанными лапами. Убей старуху! Я первый, без единого сребреника наград, укажу тебе ее, вот она! — на ней красный плащ, у нее лысая голова. Убей ее!

Утром я шел мимо завода Витаминных препаратов. Три девушки в белых халатах срывали одуванчики, сталкиваясь в нескошенном газоне.

— Что вы делаете, девушки? Праздник лета? Карнавал — невесты в венках?

Я посмотрел: они бросали одуванчики в одну кучу, желтые цветы, серебряные стебли.

— Зачем вы срываете одуванчики? — спросил я еще.

— Какое вам дело? — одна, а вторая: — Приказали — срывать! Я: — Кто приказал? — Иди, иди, куда шел! — Кто же? — Ворошилов!

Я пришел домой, побрился, при галстукке опять на завод Витаминных препаратов. Проходная, и я сказал дежурному вахте-

ру:

— Позовите мне товарища Ворошилова.

— Бяро пропусков! — сказал вахтер.

Я вынул свои удостоверения: член Союза... корреспондент... член комиссии... И все мои книжечки — красные. Вахтер бросился к телефону, спрятался в своей будке и дрожал, несчастный, старый, старый старик.

Ворошилов вышел так независимо и с таким достоинством, что было ясно — он перетрусил, он бежал ко мне, сломя голову. Описывать его нет смысла, стандарт.

— Это вы отдали приказ рвать одуванчики?

— Не отрицаю. Я отдал приказ.

— Но почему?

Он опустил голову. Господи, он приготовился к казни, и нож гильотины уже блистал над его стандартной головой. Он уже умирал.

Сердце мое дрогнуло.

— Пойдемте прогуляемся, — сказал я.

Товарищ Ворошилов подобрался и хищно посмотрел на меня:

— Сейчас рабочий день и я не гуляю, а работаю!

— А три девушки с одуванчиками? Тоже работают?

— Я работаю.

— Хорошо, я приду вечером.

Он сдался:

— Ладно, лучше уж сразу.

Мы пошли.

— Клянусь! — сказал я, — ни в какую прессу я писать не буду.

У меня нет ни малейшей страсти к доносам. Но объясните же, почему вы приказали рвать одуванчики? Мне наплевать на три рабочих дня, потраченных девушками впустую. У нас миллиарды дней так тратят, мне наплевать. Но почему вы приказали рвать одуванчики? Я писатель, мне интересно.

Мы сели на белую скамейку. Листва у тополей нежная, небо — синее. Три девушки, не оглядываясь, продолжали.

— Черт его знает, почему, — сказал он с мукой. — Ума не приложу, почему.

— Как так?

— Ах да, — вспомнил Ворошилов. — Я не люблю одуванчики. От них много пуха, и вообще...

— Через неделю зацветут тополя. Ваш завод будет весь в пуху, как цыпленок. Вы прикажете вырвать тополя? Смотрите — какая аллея!

— При чем тополя? Я не люблю одуванчики.

— Я не люблю кошек! Прикажете уничтожить кошек?

— А что? — оживился он.

— Почему вы приказали рвать цветы?

— Какие цветы?

— Одуванчики.

— Одуванчики — разве цветы? — искренне изумился Ворошилов.

Больше говорить было не о чем. Я встал и пошел домой, снимать галстук. На нашей аптеке висел плакат:

"Граждане, витамины содержатся не только в таблетках, но и в самой разнообразной пище".

От родомицина кружится голова, шатает, бессонница, так бывает с похмелья. Пятые сутки бессонница.

Вчера уехала жена куда-то...

Белое небо в черных полосах. И на небе, как на разлинованной страничке школьной тетради, нарисованная рукой ребенка — луна, чистая, оранжевая, тяжелый шар, светящийся.

По стеклу ползла капля (откуда капля? где дождь?). По стеклу полз муравей (вскарabкался на девятый этаж?). Капля ползла вниз, муравей вверх. Где, муравей, ваша хваленая интуиция, —

он полз прямо на каплю и она скатилась на него и поползла дальше, вниз, вместе с муравьем. Я открыл окно. Длинной иглой выковырял муравья из щели рамы — дурак, задохнется, утопнет — и выбросил муравья в воздух. Полетает, проветрится и приземлится, ничего с ним не делается.

Что делать?

— Тиктак, моя бессонница, — стой, кто идет? — "мой часовой".

Никто не идет.

Пуст наш квартал, пуст. Молочные цистерны и цистерна "квас". Хочется вишен. Ни с того ни с сего над Смольным взлетели три ракеты и летели треугольником — журавли по вертикали. Не успел рассмотреть, какого цвета.

Как рано ложатся спать. Свет в тринадцати окнах в доме напротив, а окон всего — сто сорок. Из тринадцати только на двух занавески: белая с золотыми цветами, вторая — неразбериха, пестрота.

Трамваи еще шумят, светофоры перемигиваются. У-снуть...

\*\*\*

Зимой по питомнику прогуливают только собак. Вечерами там лают и скачут псы, звенят собачьи кандалы и цепи, поблескивают лица собачьих хозяев, — о чем они молчат, о чем мечтают? — и повсюду черно-белые тени снега, фонари — древнеримские светильники, факелы, символы владения второй половины двадцатого века, жалкие сигналы света в черно-белой и ледяной современности.

Мой дом светился, как шкала радиоприемника в темноте.

Не все ли равно, прогуливать собаку или прогуливать себя. Сегодня нужно хоть немножко чем-то дышать по вечерам, чтобы утром приставить крутящийся стул от рояля к столу, на котором хранится пишущая машинка, и, регулируя высоту стула, приспособить свое тело к клавишам и проиграть еще раз на металлических буквах все ту же увертюру бессмысленности и тоски, неосуществленной ненависти и несуществующей любви, — лебединую песню домашней типографии.

За пределами моей квартиры ни одна моя феерия или драма — не появятся, они замурованы в моем доме, как и я сам, но у меня еще хватает сил, несмотря ни на какие силлогизмы, — сочинять и выбрасывать в мусоропровод, снова сочинять и выбрасывать — бессмысленная карусель бессмысленного труда, тайные эрекции словесности. Рассчитывать на когда-нибудь — тоже глупо. Когда же это "когда-нибудь", какой гениальный мусорщик сохранит, а потом отнесет "человечеству" мои молитвенники-эссе, полусгнившие в отбросах пищи? Не спорю — такие случаи "имели место", но ведь это было в эпохи, когда мусорщиками работали академики и гении, когда еще повторяются эти счастливые времена!

Один писатель тех времен, который писал в общем-то для мусоропровода, сказал фразу: "Рукописи не горят". И его рукописи — о чудо! — не старели. Насчет себя он угадал. Только эта фраза — жалкое утешение.

Сгорели десятки древних культур, папирусы Египта и Китая, сгорела Александрийская библиотека — хранилище древнего ума и таланта, сгорели воцеленные дощечки Рима и береста древней Руси, сгорели рукописи Гоголя, дневники Пушкина, стихи Лермонтова, Шевченко, Хлебникова, Мандельштама... Дело не в списках — сгорели тысячи и тысячи имен, горят костры неугасимые. И мы-то знаем, что никто тут ни при чем: почему что-то должно обязательно умереть, а что-то нет? Скала и песчинка, инфузория и мамонт, тиран и клошар, государства и росы, сгорит и Земля, и рукописи — отнюдь не привилегированные организмы природы.

\*\*\*

Я шел к нашему дому по тополиным аллеям питомника. Тротуар твердый. Трамваи катились по рельсам, пустые, просвечивающие насквозь, и в них плескалось электричество. Тротуар в пятнах от обуви. В воздухе сверкали ветви. Неба не существовало, только что-то вверху чуть-чуть вспыхивало. Проносились такси. Белые, они совсем растворялись на фоне белого снега и полусвета, мелькали только зеленые фонарики — траектории наземных ракет.

На переходе горел красный свет, и на красный свет прямо на меня бежал человек, он вертелся между машин, как русалка. Он бросился на тротуар, бросился ко мне:

— Вы не видели такой девушки, в красной шапочке?

Он задыхался.

Красная шапочка и серый волк.

Около девяти вечера, февраль, градусов двадцать мороза, ни души, а жалкий электрический свет на трамвайной остановке освещал этого безумца: он был совсем голый. Оплывающий жирком живот с заиндевевшими волосами, а волосы на голове — иглы льда, замерзли, зубы оскалены, руки и ноги — две буквы "А", нахлобученные друг на друга.

— Но я найду, я найду! — и он бросился через трамвайные рельсы к нашему дому.

Ничего.

И утром и вечером на улицах много бегунов. Они надевают трикотажные тренировочные костюмы и бегут кто куда. Достижения медицины нашего времени ужасно превзошли все ожидания. Чем бы человек ни заболел — вылечат. Поэтому врачи стали использовать свои методы на расстоянии: не нужна никакая "скорая помощь", что бы у тебя ни заболело — нужно только переодеться в тренировочный костюм и бежать.

И бегут — стальные сердца, автоматические почки, воздухоплавательные легкие! В газетах писали, что несколько уникалов излечились бегом от самых предсмертных болезней. Может быть, и этот спринтер осваивает какой-то новый пункт врачебной практики — он ведь даже не дрожал.

\*\*\*

Вчера я проснулся, ночь, и я сообразил, почему я проснулся: остановились часы. Мы напрасно так безответственно относимся к своим вещам, ведь вещи, которыми мы пользуемся, постепенно привыкают к нам, как животные; и самое исполнительное существо — часы; они болеют, когда болеет сердце и останавливаются, как и сердце.

По комнате летала большая синяя муха. Она жутко жужжала. Мне снятся сны-кошмары, но галлюцинаций еще не было. Откуда в феврале в государственной квартире — синяя муха? И летала она совсем не так, как все мухи — беспорядочно, бьются об окна, о стенки, о рояль, — она летала, выписывая правильную восьмерку. Перекрестье восьмерки приходилось как раз

на лампочку: там, как в стеклянном воздушном шаре, сидела, поджав коленки к подбородку, обхватив коленки изящными ручками, — девушка с рассыпанными золотистыми волосами, с накрашенными губами, голая, и манила меня указательным пальчиком, сгибая его и разгибая, а ноготок на пальце был алого цвета. Шнур опустился до пола и лампочка раскрылась, как тюльпан. Девушка выпорхнула из-под цоколя и полетела за мухой. И у девушки были крылья. Так и жужжали они по комнате: чудовище-муха и дюймовочка-стрекоза. Потом, откуда ни возьмись, у девушки (в правой руке!) сверкнул маленький меч, и голова мухи упала на белое фарфоровое блюдо (на рояле!), а туловище мухи, без головы, пробило стекло форточки и пропало. Дюймовочка, вращая над головой меч, опустилась на клавиши, проиграла какую-то мелодию, протанцевала на бемолях и улетела в форточку, в то же отверстие.

Это не очень интересная история, я думаю, любой сумеет рассказать поинтереснее — что с кем случалось наяву, но я и не собираюсь преподносить сверхсюрпризы повествования.

Я смахнул отрубленную голову в мусоропровод, а стекло форточки так и не переменял: там и сейчас отверстие.

Когда я опомнился, часы уже шли и я уснул.

\*\*\*

Я протянул ему спичку, он прикурнул, совсем мальчишка с милицейским околышем. Спичка сияла в морозном воздухе, погасла. Мы сидели на скамейке все в том же питомнике и говорили. Мы выяснили определенно, что тираны Рима, татары и арабы — просто шаловливые мальчуганы по сравнению с олигархиями двадцатого века, что проблемы нравственного развития стран с совершенной государственной системой сейчас решаются од-

носложно и мудро: уничтожается треть или две трети населения, а остальные живут по потребностям. Человек, который может чего-то добиться, — скучнейшее существо, он добивается и только. А вот у раба — всегда мечта. Характеристика рабовладельцев — мечтательность.

Над нами трепетал фонарь, кругом кусты, сверху изоляторы и звездочки неба, хорошо и холодно. Милиционер кутался в шубу, я был забронирован от мороза (пальто на меху), так что мы могли сидеть хоть до утра и объяснять друг другу истинные истории.

Полчаса назад ко мне подошла девушка в красной шапочке. Она — пала на скамейку, от нее пахло не водкой, а тем специфическим спиртом, который пьют рабочие, инженерно-технический персонал и кандидаты наук.

— Простите, — сказала девушка, раскачиваясь на скамейке, то ли в такт своим словам, то ли просто так. — Вы не заметили случайно симпатичного юношу в импортном пальто? Он вас не спрашивал, извините, про девушку в красной шапочке?

Она меня спрашивала, я ей внимал.

— Видел вашего юношу, — сказал я. — Только про импорт-



ное пальто вы — слишком. Он был голый.

— Что вы! (нисколько не удивляясь) — февраль не тот месяц, когда он голый. А что — он шел или бежал?

— Бежал.

— Тогда может быть... А вы чего шатаетесь по ночам? Ты чего пугаешь чужих невест? — ни с того ни с сего набросилась на меня эта нимфа. — У, жидовская морда! — завопила она в испуге, хотя никак не могла видеть мою морду, потому что ночь и я сидел с поднятым воротником. — Не хватай меня за ляжки, обормот, не трогай трусы!

— Все правильно, — подумал я. Ей так хочется, чтобы ее хватали... и про трусы тоже. Я встал.

Откуда ни возьмись, в наш чертов круг света ворвался мотоцикл, два милиционера, один за рулем, другой в коляске, оба в полушубках.

— Завернули на огонек, — объяснил тот, в коляске. — Супруги ссорятся?

— Пожалуйста! Посадите этого типа в камеру! Он меня чуть не изнасиловал!

— Жена? — спросил тот, в коляске.

— Почему? — спросил я.

— С жалобами на изнасилование обращаются к нам только жены. Как правило.

— Жалобы на мужей?

— Вот именно! Оба напьются и все перепутают.

— До свиданья, — кивнул я.

— До свиданья?! — взвизгнула Красная Шапочка. Она бросилась к милиционеру и распахнула пальто... И эта была голая. На теле ни единой ниточки.

Милиционер присвистнул. Он повертел головой, понюхал воздух, обошел девушку, обнюхал меня, сделал знак напарнику за рулем, и мне: — Отдохните минутку! и девушке: — Пройдемте, товарищ, застегнемся.

Они ушли в кусты, а мы сели на скамейку с тем, третьим, который был на заднем сидле мотоцикла, и, не теряя ни минуты, заспорили о политической ситуации в Израиле и в Греции, о Китае, и как хорошо у нас.

Кроме уха я слышал — в кустах шептались, потом все слова исчезли, там — утихло и дружно задышали.

— Как вы думаете, что они там делают? Снимают свидетельские показания, что ли? Столько времени! — тревожно спросил мальчик-милиционер.

— Е...

— Что вы говорите!!!

— Интересно — посмотри.

— Подсматривать?!

Я не стал ждать финала этой драматургии: сквозь ледяные ветви кустов превосходно просвечивались силуэты этого вдохновенного трио...

Мотоцикл догнал меня уже около дома.

— Остановитесь же, — попросил меня милиционер №1. — Прошу понять меня правильно, — заговорил он взволнованно, — мы прекращаем дело, вы никого не насиловали, мы вас не преследуем по закону, но и вы...

— Иди! — сказал я.

Я пошел, минут через пять он схватил меня за рукав. Я обернулся. Мотоцикл (фара) горел дальше на тротуаре.

— А вы не кагебешник? — воскликнул милиционер, осененный. Он боялся. Что кому. За полчаса я уже и "жидовская морда", и кагебешник.

— Иди ты на...! — заорал я, на него, замахиваясь.

— Вот это — да! — повеселел милиционер. Вот и он растворился в пространстве.

...

Ни души.

Метрах в пятистах слева блистала неоновая вывеска: "Завод витаминных препаратов".

Справа, в нескольких шагах белели отвесные скалы моего дома. Кое-где светились и стеклышки — окошки птичьих гнезд.

Девушка была на месте. Ясно: еще нет двенадцати, ее уносят с первым тактом кремлевских курантов.

Сегодня она была не в духе. Розовой сморщенной лапкой она протянула какую-то бумажку и сказала, ухнув:

— Недолго вам еще ходить! Я рассмеялся. Что за люди! Каждый милиционер — провидец и философ, каждая калека — пифия.

Я сел за машинку и развернул бумажку. Она была озаглавлена красными буквами:

### СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

за образцовый порядок и  
высокую культуру быта  
и текст клятвы:

— Мы, проживающие в доме №... по улице... в квартире №..., включаясь в социалистическое соревнование, принимаем на се-

бя следующие обязательства...

Моисей был не так уж и глуп, как хотелось бы атеистам. Он первый написал 10 заповедей и вот, пожалуйста, через несколько тысяч лет библейский пророк нашел своих последователей.

Вот и "Социалистическое обязательство" — как жить в своем доме — тоже всего-навсего десять пунктов, и только-то. Я прочитал листок. Не знаю, кто составлял это свидетельство нравственного гения нашего века. Один пункт (№ 2) я выпишу для наглядности, а остальные прокомментирую.

Пункт 2. Развивать товарищеские взаимоотношения между проживающими в доме по коммунистическому принципу: "Человек человеку друг, товарищ и брат", оказывать друг другу товарищескую взаимопомощь, бороться за изгнание из быта и семейных отношений всех пережитков прошлого и аморальных поступков.

В общем, чтобы держать на высоте почетное звание "жилец нашего дома", я обязан:

бороться, выполнять, производить, развивать, оказывать, бороться, повышать, участвовать, относиться, прививать, контролировать, держать, участвовать, выполнять, участвовать, участвовать, участвовать, сохранять, отработать, вносить, оплачивать, собирать.

Прекрасно. На 10 пунктов Манифеста — 22 глагола повели-



тельного наклонения. Не так уж и много, если сравнить с манифестами, издававшимися в прошлом. Но тогда разговор шел о вселенной, а сейчас и дела-то дела: "правильная эксплуатация народного достояния — нашего жилого дома".

Я вынул из холодильника бутылку водки, но пить не хотелось. Не помню, когда мне было приятно пить. Всегда — отвратительно. Да и состояние опьянения — кратковременное. Потом — плохо несколько дней.

На такие жертвы идут разве совсем молодые: уже грянул час, когда пора переступать границу "дружбы" и переходить к отношениям более определенным. Поэтому в какой-то прекрасный миг оба напиваются и просыпаются утром уста в уста.

Я бы сказал, что это не только общедоступный рецепт, но и равенство — оба одинаково пьяны и никаких тебе распросов о девственности, лишь нежность и теплота. И на всякий случай оправдание — алкоголь. Водка — универсальное средство для влюбленных, но пить в одиночку — для чего? Нельзя. Говорят, что и смертельно. Не знаю. Пью и все.

Я написал еще одну главу к своему роману.

Бутылка стояла. Осталось 15 минут. Проверенная горьким и грешным опытом система: нельзя пить до 1 часа 00 минут ночи. Раньше было лучше: все жили в коммунальных квартирах и можно было звонить по телефону только до 23.00. В отдельных квартирах — всю ночь. Но я знаю: если не позвоню до 1.00, то уже совсем не позвоню. Если же выпью хоть за минуту до часу хоть одну рюмку, то — неминуемо. Вот и выжидаю.

А кому звонить — некому, кто первый попадет в записной книжке. Вот и получается дикая. Через некоторое время встречаешь знакомую и в полнейшем замешательстве выслушиваешь выговор не столько за звонок сам по себе, сколько за несвоевременные и несусветные предложения. В голосе выговаривающей появляются нотки сочувствия, она хочет знать правду и только правду, чтобы пожалеть, а от жалости — помочь.

— Ты еще не совсем того в своей камере-одиночке?

— Очень даже может быть, что и того.

Смеется:

— Ну, если сознаешь, то, конечно же, не того.

Вот и помощи:

— Знаешь что, плюнь ты на эту свою писанину, чего замуравался? Приходи пожрать. Специально сготовим. Мясо!

Мясо — это заманчиво. На рынок я не хожу, а в наших магазинах мясо — черного цвета, как будто зарезали негров африканского континента и распродадут их по кусочкам.

Любой смертный, проживающий на территории Ленинграда, знает все анналы и кодексы ССП намного лучше, чем сам член ССП. Писателей почему-то отождествляют с дон Жуанами или Есениными. Впрочем, дон Жуан — философская, а Есенин — комсомольская абстракция. Самое лестное представление о писателе — он пьяница и бабник. (Это вообще-то высший комплимент русскому человеку.) В последнее время к этой характеристике прибавилось: он пьяница, бабник, он — верит в Бога!

И вот любой смертный осуществляет программу своих убеждений.

Сначала в парадной на лестнице из-под полы плаща пьем "Солнцедар". Это вино — для идиотов или самоубийц. Так — "Солнцедар" — назвал его какой-то человеконенавистник.

Потом, насолнцедарившись, этот смертный, ликуя, спорит о Шолохове и Солженицыне (конечно, в контрасте), и тащит домой, и расхваливает всесторонне свою жену. И в конце концов, когда эта жена — отдается, он страшно обижается, мечет молнии диалектики, но все-таки звонит и знакомит со своими любимыми, и там — то же самое. Абсурд какой-то.

С женщинами еще хуже. "Солнцедар" тот же, Шолохов и Солженицын так же скрещивают донские и православно-советские

сабли, только характеристики мужа нерешительные, а все-таки тоже тащит к мужу познакомиться, муж только и мечтает об искусстве. И вот знакомишься, и опять водка, и нужно читать громким голосом стихотворенья собственного сочинения, в таких домах царюют попеременно Евтушенко и Асадов, первый как любовный лирик советской власти, а второй как советская власть в любовной лирике.

Вот и декламируешь, пьяный, и долбишь носом стол, как дятел, а муж смотрит на тебя такими глазами, будто ты изнасиловал его жену на лестнице. И он не так далек от истины (потому что все это происходит, но со временем).

У нас никогда не уважали писателей. Их боялись и убивали.

— Пишите правду! — орали миллионы, живущие лишь ложью.

— Будьте героями! — орали миллионы трусов.

Этот труд никому не нужен, поэтому лучше — в мусоропровод. Мне важнее, что я напишу, а не кто и как меня прочитает или не прочитает совсем. Мне нужно только проверить, на что я — еще способен, а если на что-то еще способен — уничтожить. Фатализма нет и рассчитывать на него нельзя. Пора разбивать свои кифары.

\*\*\*

— Недолго вам еще ходить!

Не спорю. Может быть и недолго. Я выпил уже почти всю бутылку, после второй рюмки отвращение прошло, просто глотаешь безотносительную мерзость и преспокойно пьянеешь.

А ходить все-таки хочется. Небо и снег, небо во всех состояниях и снег только не мокрый, лес со всеми грибами, паутинками, букашками, море со всеми парусами и пузырями.

Может быть, это запоздалая и слишком робкая любовь, ведь мы — спартанцы, нас тридцать лет учили ненавидеть цветы, собак, небо. Цветы — для делегаций, собаки — для службы, небо — для оборонной мощи державы. Господи, прости этих урода, людей, нас. Они уроды не по призванию, их изуродовали.

Я уже был пьян.

Двадцать лет назад мне было двадцать лет.

Правильная арифметика.

Смотрю из окна на луну и вижу, как она плывет. За несколько минут она пересекла стрелу подъемного крана (рисунок на горизонте), поднялась на последний этаж тринадцатипятиэтажного дома напротив и — выше и ярче — в небо.

Мне было двадцать лет, я уже год служил в армии, так себе, я стоял на посту под Новый год. Я стоял на посту под Новый год, потому что у меня была любовь, а любовь эта была женой начальника штаба, майора, а майор был моим непосредственным начальником, потому что я командовал отделением вычислителей, а вычислители — мозг артиллерии, а артиллерия — бог войны, а Бог... тсс... Майор все знал, он уехал в командировку, меня изолировали на пост, моя любовь гуляла, я ее любил...

Я стоял на посту, шел снежок, но луна — была, только матовая что-то. Шел, шел снежок, офицеры бежали со всеми своими золотыми ремнями и эмблемами, с бутылками, тортами, папиросами "Казбек".

Мы еще утром отполировали бляхи (на совесть!), подшили подворотнички, выпили по флакону одеколона "Эллада", купили по батону и по сто грамм карамелек, нам выдали превосходную красную махорку, так мы и мыслили о чем попало, покуривая до развода.

Стоять мы договорились по четыре часа. Я стоял с 22 часов 1956 г. до 02 часов 1957. В моем взводе был мальчик-узбек, Нарым. Ему исполнилось 15 лет. Его взяли в армию вместо сестры, то есть: пришли русские из военкомата, перепутали женские и мужские имена, взяли Нарыма и он служил (это его сестре

было 19 лет).

Нарым был настоящий друг, дитя Востока. Однажды на ученьях, естественно, отстала кухня. Кухни не было два дня. Сухой паек выдать нам не догадались. Вокруг лагеря поставили часовых — две тысячи озверевших от голода солдат разграбили бы все окрестные деревни. Мы сосали снег и кашляли. И вот ночью Нарым исчез. Я не сообщил. На утренней поверке его не было. Я скрыл. Весь день мы что-то копали и куда-то перетаскивали гаубицы снаряды. Я осатанел. Вечером, когда мы нюхали свои прокишиные шинели и грезил о сервированных ресторанах, безрадостно мигая с копилкой, Нарым явился. Как только открылась дверь, я смоху дал ему по морде. Нарым был сильный мальчуган, он шутя справлялся со всеми хохлами нашего взвода, а их хлебом не корми, дай подраться с "черножопым". Но я хорошо ударил, он упал и затрясся. Все вскочили. Ничего, потрясется и встанет. Но он не встал. Я схватил его за шиворот и перевернул. Он — хохотал! Кровь пузырилась на его губах, а этот мерзавец — хохотал! Все перепугались — не сошел ли с ума? Я-то знал, что не сошел, иначе бы ему было не до смеха. Отсмеявшись и оттерев снегом свою монголоидную морду, он сел на нары и расстегнул шинель. И мы увидели...

Мясо. Куски свежего мяса. Мы съели все. О солдатской дружбе не могло быть и речи. Нас пятеро в землянке, если поделиться с остальными 1995 друзьями, товарищами и братьями — это была бы трогательная и эффектная сцена, но нелепая, я думаю.

Отец Нарыма был богат, кажется, такие люди у них называются "чабан". Отец присылал Нарыму много чего: и бишбармак, и самогонку из риса. Нарым любил меня, потому что он не пил, не курил, не ругался матом и вообще ни хрена не делал — не служил. Ни на работы, ни в наряд, ни на строевые смотры — не ходил, только в магазин за одеколоном и карамельками. Он чистил мне сапоги, подшивал подворотнички и т.д., мы оба были счастливы: я имел дивного денщика, он — сачковал. Майор знал, что Нарыму 15 лет, но помалкивал.

На Новый год Нарыму прислали баранье сало, самогонку в железных литровых фляжках и еще какую-то азиатчину. Он прокрался на пост и на мой вопль (по уставу!) — Стой, кто идет? — ответил условным свистом. Нарым принес литр самогонки и с килограммом бараньего сала.

Я начал пить в 23.32, так что зпорадствовал даже: хоть я и на посту, но все-то начнут пить в 24.00. И вообще я — в привилегированном положении — не нужно надевать спецмундир, стричься, танцевать танго с женой офицера, а потом за это танго мыть мешковиной то, что на гражданке называют изысканным галлицизмом, не нужно декламировать тосты, есть ножом и вилкой, как у нас это повсеместно принято, не нужно наутро бить никому морду — ни в одиночку, ни коллективно... или самому быть битым.

— Красота! — у меня оставалось еще 2 часа 28 минут, я — сам по себе, сам собой, оловянный солдатик, затерянный в оловянных снегах, сам себе — бог, царь и герой, сам — своя любовь, свое счастье, или же я последняя пылинка вселенной, так себе, человечек с автоматом, Вечный Жид или же блуждающий по параллелям и меридианам пес, у которого не мозжечок, а кнопка: нажмешь — залает, не нажмешь — ползет дальше. Я пил и любил весь мир, и весь мир любил меня. Такой у нас нарциссизм!

И в этом Доме Офицерских Семей, сию же минуту за праздничной скатертью с хрусталем и шампанским, болтала моя любовь, жена майора, перепутавшая все семьи городка, и она, несмотря на все мои немые восклицательные знаки, останется ночевать с очередным офицером (любим!), или даже с двумя (да нет, не с двумя, с нее-то стало бы, у них — дисциплины маловато...)

— Стой, кто идет?

— Разводящий с дежурным по части!

Бдительности А как же. Вооруженные силы НАТО заседают в этот миг в своем кошмарном Пентагоне и, щелкая клыками, выискивают на географической карте всемирного масштаба эту Центральную Цитадель Вооруженных Сил СССР — Дом Офицерских Семей — которую бдительно охраняет и стойко обороняет Генералиссимус СССР — я.

Вот и дежурный по части подошел, и я отралпатовал, а он сверкал стальными зубами, все пытался подойти поближе, крался на цыпочках, принюхивался — что я выдыхаю и выдыхаю, но я опустил морду в воротник тулупа, три венгерских х... тебе в железные зубики, мой милый, не разберешься — пахнет ли водкой, а стоял-то я, не качаясь.

Я выпил еще. И съел кусок сала. Я пил в первый раз в жизни. Не то чтобы я совсем не пил раньше, так — рюмка, флакон. Я — напивался в первый раз, а это — состояние отрешенности, расслабленности или — истерики, как когда. Я ушел из университета, и вот меня взяли. Три года казармы, лучше бы тюрьмы.

Я посмотрел вверх. Снег уже не шел, а луна рассыпалась всюду, из форточек — музыка! "Мишка, мишка, где твоя улыбка?" Вниз на меня уже летели бутылки, какие-то коробки, нет, не специально на меня, просто в форточки выбрасывали, меня как такового ни для кого не существовало, я — икс, абстрактный значок на снегу.

Я выпил еще. Вообще-то я был стеснительный юноша, дрался лишь тогда, когда не драться нельзя, матерился в меру, внутренне содрогаясь. А тут вдруг запел, как мне казалось, превосходным басом "Твоя п... цвела, как куст сирени" (такая популярная песенка). Они веселились вверху, и я — веселился: итак, нежно снять с плеча автомат, с грустью пустить очередь в новогоднее небо — боевая тревога всему Ленинградскому округу! — и никаких тебе шампанских, ни тебе елочных фонариков, жаренных поросят и поцелуев, — чрезвычайное происшествие, ЧП! Левитан речитативом по радио: "Говорят все радиостанции Советского Союза!"

Да здравствует наше настоящее!

Собственно говоря, что у меня осталось там — "прошлое"? Сорок сороков тысяч сожженных "произведений", философский факультет, где философию жевали, как вязку чулок, где современный и своевременный мистический материализм профессора называли диалектикой природы, где в принципе на философию было наплевать, так же, как и на философское развитие студентов, потому что философы там были не нужны, а нужны были мертвец с языком, глаголющим все лживые лозунги, — "готовили кадры" для работы в Инстанциях. Наше настоящее: отцы в тюрьмах тридцать седьмого года, блокада Ленинграда, годы голода и очередей, десять лет школьной казармы, где нас муштровали для рабства и парадов и теперь — 1095 дней за решеткой, за колючей проволокой казармы, 453 я уже отслужил, осталось 642.

642 дня — 15.408 часов,

15.408 часов — 924.480 минут,

924.480 минут — 55.468.800 секунд.

Я — выпил все, я флягу отбросил, в глазах вспыхивало, тулуп распахивался, и было тулуп, его, проклятье, никак не запахнуть рукой, стеклянные окна ДОСа плыли, как будто я стоял на палубе, а плыли лампы государств-гигантов кругосветного плавания. Плечи ныли, тулуп, он тяжел для моего скромного телосложения, плечи в судорогах, я снял автомат и повесил на руку, поносить немножко належке, а потому что снял, по инерции отвел предохранитель, чуть вверх дуло, не глядя вверх, дал спс-а-койную очередь и дли-инную по верхним окнам ДОСа. Потом я повесил голову, свесил, сосредотачиваясь, хотя не думая, чтобы в той голове мелькнула хоть какая-то маломальская мысль, только шапка моя — ушанка повисла на моей остриженной голове, повисела и



свалилась, а я с аккуратностью, свойственной сильно пьяным, дал очередь по окнам следующего, второго сверху этажа, выбросил пустой рожок и зарядил новый и дал очередь по окнам второго от земли этажа, а потом отошел на несколько шагов в сторону и уже — в упор — расстрелял окна первого этажа. Я стрелял слева направо, и, когда осталось лишь одно окно на первом этаже, патронов не хватило, и я подошел к этому (помню, зеленоватому от занавеси) окну и швырнул в стекло свой автомат.

Я сбросил тулуп в снег, не оглядываясь, в валенках, в шинели, без шапки, ощущал только — уши опухли, а в воздухе воздушные шары, какие были в самом начале воздухоплавания, кто-то бежал, блестя чернильные голенища сапог новогодних, офицерских, золотопроволочные ремни, фонарики пуговиц, о как ведало одеколоном, сверкали стекла на снегу, вопли "тревога!", синецкие капитаны, их девы-рыбы со студенистыми декольте, а на лицах — глаза покраснели — ах, гвоздики! — я вошел в подъезд.

Я пошел по лестнице, никого не сбил с ног, и меня никто не сбил. Ничего не помню. Очнулся от звона. Фосфоресцировал будильник. В комнате не гасили свет. Абажур стеклодувный, как в больнице. Стол в беспорядке, но без следов разрушения. Спал я без шинели, в ее комнате, один. Пять часов утра. Я выпил стакан портвейна "777", сладкого до омерзенья, сидел, дыша, преодолевая тошноту, преодолел и ушел. Дверь была открыта, и я оставил открытой, болтался крючок дверной.

Судили. Если бы на суде появилась моя стрельба, наше начальство, я первый — мой милый майор — ах, карьера и пенсия, а мне — 7 лет тюрьмы. Но... дело мое было сложное, психологическое, не без эмоционально-сексуально-паталогического оттенка и папа мой был еще генерал-лейтенантом, не здесь, в другом городе, но и он разбирался в делах войны и мира... о моей стрельбе почему-то на суде — все позабыли, просто — я по пьянке ушел с поста. Подсудимый, признаете свою вину? Признаю. Три года тюремного заключения. А по смягчающим вину обстоятельствам (единственным этим смягчающим обстоятельством, думается, был — папа) — один год дисциплинарного батальона.

Много было нас: амнистированные 1953 года, реабилитированные 1956 года, рецидивисты, школьники, как я... Из нашего батальона профессиональные эски уходили в тюрьмы: лучше три, пять лет в тюрьме, но не год — здесь. Бунты — были, по слухам, у нас — нет. Я в бунтах не принимал ни прямого, ни косвенного участия. Подчеркиваю — никакого. Разве участвовал в драке, затеянной неизвестно кем, — бывшие эски и конвой, но я никого не убил, я был тривиально трезв, а ломиком — что ж, бил, по ключицам и коленкам. Но не по головам.

\*\*\*

... В дисбат меня отправляли под конвоем. Нарым принес мне дивизионную многотиражку. Иван Басманов, ст. сержант. "Новогодняя Отчизна". Моя первая публикация.

— Нарым, — сказал я. — Помнишь, на ученьях мы жрали мясо. Что это было? Мы ведь спорили. Говядина, баранина, свинина, телятина? Что?

— Когда? — строго спросил Нарым.

— На ученьях! Не помнишь?

— В какой день, я спрашиваю?

— Ну, в первый.

— В первый день была собака, во второй — две кошки, одна рыжая в полосках, другая обыкновенная.

\*\*\*

И опять я забыл покормить свою крысу!

С моей крысой у меня — нет хлопот. Собак выводят погулять и поиграть с палочкой, от кошек злоба и злоба, моя крыса лишь ночует в моей квартире. Как она появляется, как исчезает — неизвестно. У нее единственный, кажется, по-мановский каприз: ужинать в двадцать четыре часа ночи по московскому времени.

Сейчас два, я опоздал, простите, пожалуйста, меня, я в драматическом состоянии, потому что пьян и не только поэтому — по всему — не осуществился как индивидуальный член коллектива и кулак член социализма, то есть ССР, я деградирую и там и там, но нужно брать во внимание и следующие объективные обстоятельства: я — одиночка-единичка, несмотря на то, что живу и питаюсь в самом лучшем из существующих в мире коллективов, не нужно, крыса, быть обиженной на мое опоздание, не ли покупаю вам ежевечерне в забегаловке-романтичке с девизом "Кулинария" — сырой бифштекс — 37 копеек? Я трачу на вас 12 рублей в месяц, я не слышал от вас ни слова благодарности, ни вообще ни слова. Представляю, как вы хохочете надо мной в своем прохладном подземелье, ну и пусть, неужели вы являетесь только из-за бифштекса и шерстяной подстилки, вон она под моим письменным столом? Или вы любите меня? Ведь вы не попросили у меня пищу мяса и подстилку сна, я — сам. Вы — мое единственное близкое существо, можно сказать, родственная душа, вы и жрете-то деликатно и киваете своей мудрой башкой в такт моим словесам. Ясно: мы все по-ни-мо-е-к. Беседа с тобой, я приближаюсь к природе, к тем темным областям, которые Бог припрятал в подземелье (до поры до времени), чтобы в один прекрасный момент выпустить на свет Божий и покорить потомство Хама.

А может быть Вы — тайный агент своей крысиной полиции, капитан или даже подполковник секретной службы крыс, может быть ты подослана ко мне со специальным заданием — завербовать этого человека, раскрыть перед ним все прелести и превосходство крысиной системы и идеологии, посвятить в тайны нашей организации, подготовить совместно всемирное восстание крыс под лозунгом "Вперед, к победе крысизма!" Мы сбросим многовековое иго человека, распределим все блага — все злоки и механизмы — объявим диктатуру самого передового животного класса — крыс, но так или иначе, нам для начала нужен Вождь —



человек. Ты кликни клич, Вождь, и мы — восстанем, нас — миллиарды и миллиарды, на каждого человека приходится в среднем 10.000 крыс, не спасут ни баллистические ракеты, ни космические исследования, нужен лишь один бросок, лишь одна ночь — и все человечество пропадет со всеми своими философскими, культурными и техническими достижениями, — там-там та-ра-рам!

А может быть ты — одинокое и несчастное существо, эмигрант своего клана, изгой своего племени, клошар подвалов, тебя кусали и хвостами хлестали вожди мафий, ты приютилась в моем непритязательном шалаше и боишься — вдруг вышвырну на снег, и стоишь на задних лапках, облизывая передние и расправляя усы, храбришься, а сердце стук-стук. Бедняга.

У меня не было часов. Радио у меня тоже нет. Поэтому крыса кстати: она будит меня ровно в семь утра, не прыгает на подушку, не грохочет кастрюлями, не визжит. Она сидит на паркете и смотрит мне в лицо, я — просыпаюсь. В комнате еще темно, я вижу ясно только два красных пятнышка — ее глаза! Не уснуть.

Мы познакомились так.

Март, весна, отвратительная ленинградская, когда жить — жутко, спяכות свинца, снег сереет в коррозии коפותи, отбросы зимы: кладбища тряпок, щепок, слюнявых бумажек от мороженого, презервативов, рваных сандалий, грязь грязная, мешанина-месиво, красные и белые кирпичи новостроек, неандертальские кварталы и замерзшие деревца под ногами, как пальчики из преисподней.

Впервые открылся мусоропровод, всеобщее ликованье, сбрасывали в люки, что накопилось со времени переселения (за полтора года — расколотые бутылки и банки-склянки, ножки от сломанных стульев, ржавые крючья от штор, бумагу и т.д.), еще все высыпали ведра капусты (заплесневели за зиму, мания с блокады — запастись). На всех лестничных площадках

круглосуточно дежурили школьники. Они выхватывали из помойных ведер журналы, книги, письма, открытки — макулатуру.

— Дяденька, тетенька, не бросайте бумагу, нам нужно на металлолом!

Расплодилось крысы.

Нет смысла исследовать генеалогическое древо крыс, оно так же сомнительно, как и древо человека. О крысах существует большая литература. О них написано не меньше романов и трактатов, чем о любви.

Но некоторые сведения малоизвестны или замалчиваются.

Крысы — не просто особи животного мира, обирающие человеческое жилище. Государство крыс ничуть не хуже, чем популярное в беллетристике государства пчел и муравьев. Только пчелы и муравьи — автономии, плохо связанные друг с другом. Крысы — всемирная система государств. Так, у них бывают свои всемирные съезды, в крупнейших международных портах. У них свои великие переселения народов, юриспруденция и революции, экономические реформы.

Есть крысы-самоубийцы, крысы-монахи, крысы-вожди. Корабельные крысы — это шпионы и дипломатические курьеры.

Структура общества крыс мало чем отличается от структуры

человеческого общества, но эти млекопитающие более дальновидны и рассудительны. Понимая свою зависимость от человека, крысы предупреждают его об опасности: общеизвестны грандиозные демонстрации крыс перед войнами, голодом, эпидемиями. То есть осведомленность и интуиция крыс намного мощнее человеческой, а строение коры головного мозга в деталях копирует строение коры головного мозга человека. Или человек копирует крысу — сия истина еще не аксиома.

Март, ночь, я возвращался домой. Грязь, я крался вдоль стенки дома, асфальтовая тропинка. Я, альпинист, на цыпочках обходил угол, — на меня бросилась что-то живое и лохмотов. Я не успел отпрыгнуть — крыса повисла на рукаве пальто, повисела, прыгнула, отпрыгнула, опять бросилась — несколько раз. Я страхиал, махал руками и башмаками, я вертелся, как Петрушка на резинке, я — прибежал домой, схватил ножницы, сбежал с девя-

того этажа — ее не было. Запыхавшись, я опустился на диван в своей квартире — крыса сидела у письменного стола. Я взял ножницы за колечки и метнул. Я полновался: ведь крысы — первый симптом белой горячки, даже если снятся в нормальном сне. Металл мягко шлепнулся о тело. Животное опрокинулось. Это — явь. Я со страхом пощупал мертвое существо, оно было живое. Шок. Я развеселился. Что же делать, нужно пестовать хоть кого-то. Все не один. Крыса отошла. В холодильнике валялся заплесневелый кусочек сыра. Она поела. И осталась. Я печатаю, она забирается на стол справа, сидит у моей пепельницы из слоновой кости, смотрит. Может, обучу ее тушить окурки или еще чему-нибудь?

\*\*\*

Фантастики — не существует.

Все самые фантастические предания — отнюдь не плод вымысла, это было или могло быть. Художники

развлекаются парадоксальными ситуациями и сюжетами, не догадываясь, что их мечта — лишь чуть-чуть перефразированная действительность. Человеческая психика устроена так, что ей никогда не преодолеть рамки современности. Даже сумасшествие — вполне логичное явление и ничего в нем нет иррационального. Мир человека нормального и мир сумасшедшего — тот же сегодняшний мир, те же секунды бытия, те же эмоции, только выраженные несколько в иной форме. Если сумасшедший заявляет: "Я — Наполеон!" — он не так уж и ошибается, потому что Наполеон — тоже человек и его психические таланты требуют очень осторожной характеристики.

Интеллектуальный мир познаваем лишь формулами. Воспринимая, то есть заучивая формулу, человек воображает, что познал мир. Ничего подобного. Рассматривая под микроскопом клетку растения, я вижу совершенно ясно, что она состоит из оболочек, протоплазмы, ядра... Но я еще не имею ни малейшего права на основании этих абсолютных данных объявить во всеулышанье, что я познал, что такое клетка растения. Потому что: я не знаю и никогда не узнаю ее психических свойств. В какой-то прекрасный миг или трагический момент сия клетка, участвуя в процессах жизни, может осчастливить человечество или уничто-



жить его. Я могу предугадать, куда полетит птица, но не имею и приблизительного представления, чем грозит современности ее взлет или паденье. Безответственные карьеристы берут на себя миссию "преобразователей природы". Эти свирепые "преобразователи" превращают свои государства-гиганты в свалки мусора. Природа создала человека, а не человек природу. Природа единый организм. Преобразовав кровообращение природы, человек убьет ее, а вместе с ней и себя.

Все запрограммировано или предусмотрено природой. А Художник — только маленький инструмент, который в меру своих способностей фиксирует эту программу. Фантазировать Художник просто-напросто — не может, потому что он не знает ни единого существа, не принадлежащего Земле. Поэтому все философские споры — несостоятельны, потому что спор идет о том, о чем спорить бессмысленно — о жизни и смерти. Все объединения Художников — несостоятельны, потому что в конце концов побеждает единственный аргумент — сила таланта.

\*\*\*

Итак, я был пьян, но еще не спал. Я не мог спать, я сидел у окна, и, как мертвец, смотрел в окно. Ничего. Только февральский мрамор стекла.

Потом стекло стало таять, не все, а растаял кусочек, будто кто-то дышал. Дышать на стекло со стороны улицы мог только Господь Бог или какой-нибудь пьяный ангел, пролетающий мимо. — Девятый этаж!

Я протер свои пьяные очки: в кружочке блеснул огненный глаз! Красота! Сейчас Кто-то потусторонний постучит по стеклу и — до свидания, этот мир ненависти, и — здравствуй, мир Небед!

По стеклу постучали. Глаз горел. По крайней мере, смешные пути выбирают себе посланники Неба. Каждому идиоту известно, что на зиму мы все зашпаклевуем окна и оклеиваем их лейкопластырем, не буду же я ради каких-то там Божественных откровений распахивать настежь свое окно, такое теплое!

Еще раз постучали. Значит, дело не терпит отлагательства, я пошел на балкон. Когда я открыл балкон, Кто-то воскликнул что-то и прыгнул в комнату. Отряхнулся, КИМ.

— КИМ, — сказал я, — это ты бегал сегодня по аллеям, голый? Ты спрашивал про Красную Шапочку?

Маленький, сморщенный, он теперь в вельветовых джинсах и в носках, безволосое тельце с животиком, он всхлипывал, обнажая большие выдвинутые зубы.

— Тише, тише, — оскалился он. — Тише!

Он на цыпочках, пугаясь в носках, подбежал к выключателю, выключил. Спрятался в подушках дивана.

— Теперь получше. Они ничего не заметят.

Чего уж лучше: настольная лампа горела так же, как и верхний свет.

— Там, — скороговоркой пробормотал он, — у меня кагебешники. Обыск. Ищут Самиздат. Еле выбрался. Перехитрил. Два часа ищут...

— Обыск, — у него раскладушка, вместо одеяла собачья куртка, — есть что искать два часа. Самиздат, — он уже лет пять ни строчки не написал.

Он стучал зубами, отходил.

Он рассказал: два часа назад он возвратился с вечерней прогулки (это когда он голый вертелся между машинами), где девушка в красной шапочке призналась ему в любви (это ее с милиционерами). Он, совсем счастливый (я думаю!) поднялся по лестнице, потому что лифт не работал и уже на лестнице услышал запах КГБ, — интуиция не подвела. Он прополз по лестнице попластунски три этажа и выглянул: кагебешники тут как тут — у дверей его квартиры стояло двое в штатском, но с револьвера-

ми. Он спросил, лежа: чего они пришли? Они предъявили ордер на обыск. Но не на арест. Он знает юриспруденцию. Обыск — не арест. Он надел штаны и вышел на балкон. Сказал, что вот-вот вернется. Как же! Вернется! Он знал, что за ним "хвост", поэтому обманул хвост.

Ким закутался в одеяла. Я заглянул ему за спину (как попал сюда?) — крыльев не было. Я пощупал у него лопатки: не было и следов крыльев.

— Девятый этаж! — сказал я, чтобы как-то привести его в чувство. Он ухмыльнулся хитренько и вынул из кармана веревку. Обыкновенную бельевую веревку с крючком.

— Хотел повеситься, да вот пригодились! — он объяснил, что купил когда-то в период душевных травм эту веревку, собственноручно присобачил к ней крючок и вот теперь увидел, что у меня в два часа ночи во всю польхает окно, и решил: зацепил крючок за перила, спустился на следующий балкон и — так до земли.

— А сюда? — наивно спросил я.

Он объяснил: забросил крючок на первый балкон, подтянулся, забросил на второй и — как видишь!

Я — видел.

Маленький, с волчьей челюстью, воспитанник детприемников 1937 года, брошенный прямо из лагерей в горнило 1956 года, — тогда ему было 20 лет, он за год закончил университет, потому что прошел все эти программы в лагерях, он превосходно музицировал, писал маслом, знал все основные европейские языки, уже в 1957 году вышла его первая книга рассказов, их перевели во всем мире, и тут — первая любовь и женитьба, конечно же, на одной из тех графоманок-сучек, которые не пропустят ни одной постели, если простыни хоть чуть-чуть пахнут славой. Он был так нежен и глуп: этот гениальный волчонок вообразил, что между концентрационным лагерем и остальным миром — пропасть, о нет, повсюду те же вышки, та же колючая проволока истязаний, тот же кодекс палача и жертвы, та же поножовщина за пайку и за пайку же — совокупление, что святые слова "Свобода, хлеб, любовь" — лишь циничные символы-значки — он это понял только тогда, когда (очень скоро!) был вышвырнут из всех редакций и издательств, потому что переменялась конъюнктура, когда пьяная жена-филолог, совместно с пьяным "другом" — кандидатом математических наук связали КИМа и попросили его расшифровать имя, он, ничего не понимая, расшифровал — Коммунистический Интернационал Молодежи, они его спросили, почему он не хочет дать жене развод, он ответил: он любит ее, и тогда они устроили в мансарде Коммунистический Интернационал Молодежи: посадили хорошенку в кресло связанного и при освещении в двести ватт разделили и проделали на глазах мизансцены, какие только мыслимы между мужчиной и женщиной (на кровати лежал шведский журнал "120", они перелистывали страницу за страницей...). Они ненавидели его, потому что о нем писали, что он литературное явление из ряда вон выходящее, и он твердо знал — это так. Так оно и было на самом деле, им и не терпелось испытать сие из ряда он выходящее, они и придумали способ. КИМа оставили связанным и ушли, он развязался и на той же веревке повесился. Они не ушли, подсматривали в замочную скважину, у них хватило гуманитарного образования снять тело с потолка. Так и получилось: первая психиатрическая больница. Его вылечили, он вышел и узнал: весь город знает, что произошло: кто выбалтывался по пьянке, а кто и присылал pornографические открытки с тремя восклицательными знаками. Через две недели КИМа схватили две старых женщины и старик: было около часу ночи, метро закрывалось, он рассчитал последний поезд и бился головой о мрамор метро, — просчитался, не успел, с поезда сошли трое. Потом КИМа приняли в Союз Писателей и он бросил писать. Чтобы как-то существовать — перево-

дил. Писать считал ниже собственного достоинства. Не из-за этой истории. Просто — никого на свете у него не было.

Он жил в нашем доме, один, его боялся весь дом, когда он проносился вдоль стен к телефонной будке.

— КИМ, — сказал я. — Иди спать. Иди, иди, иди. (Вот и теперь у него Красная Шапочка).

\*\*\*

— Нет! — Ким как будто угадал мои мысли. Его лихорадило, из одеял — голова с волчьим ежиком и зубами.

— Я бросил писать совсем не потому — внешние причины — только толчок, точка над *i*. Я понял, что писать — не стоит, потому что я не являюсь исключительным существом природы, потому что я продал себя (не Инстанциям — современности!), потому что я пишу то, что требуется от меня в данный исторический момент — я не Художник, а жалкий интерпретатор событий, несмотря на крошечные красоты своих так называемых "художественных произведений".

Я не принадлежу к касте Высшего Интеллекта, а только использую кое-какие мыслишки своих предшественников. Я беззащитен и банален сегодня, а потому писать — не стоит.

У Художника не может быть никакой дружбы с современниками. Художник и современники — лютые, смертельные враги. Гению и современности никогда не ужиться, никогда не похвалить друг друга. Люди уничтожают своих гениев по причинам биологическим. Люди любят равенство. Равенство в самом отвратительно и животном смысле этого слова. Так в древней Спарте убивали тех рабов-илотов, которые были выше среднего роста гражданина Спарты. В Спарте действительно было равенство: все на коленях.

Люди любят полезность существования. Они хотят, чтобы все до одного были вбиты в эту мемориальную доску мертвой современности, как мемориальные гвозди.

Потому-то Художника, существо нежное и нервное, уничтожают тем или иным способом, или, как скорпиона, заставляют уничтожать самого себя. Чего там проклинать век! Глупость. Государственную систему? Глупость. Во все времена при любой системе Художника — уничтожали. И разница государственных вмешательств в этих мероприятиях — пустяковая. Скажем, во Франции было уничтожено на несколько процентов меньше, чем в России, а в России меньше, чем в Китае.

Потому-то, что меня не уничтожили, а пытались перевоспитать и прибрать к рукам, а я — перевоспитывался и к рукам — прибирался, поэтому я понял, что я не настоящий Художник, я — дилетант-рисовальщик словес, я приспособленец ума, и мое имя — безымянность. Меня любила масса, поэтому я, как и вся масса, растворился в современности, поэтому имя мое — фикция, фокус буквиз — и только.

Читатель — это талант, равный писателю. Остальные — только культивируют в себе, информируют себя чтением, они — безнравны, как инфузории. Писатель-гений, читатель-гений — изгой! — сколько их? на страну — десять? один? ни одного? Обойдутся и без меня.

Я тщательно и ежедневно оберегал свой так называемый талант, свою независимость, я дисциплинированно занимался творчеством, я обожал свою государственную особу, я верил в предначертанья своей чуть ли не божественной судьбы, я знал: я существую для кого-то живого. Все это, бесспорно, не шло от глубины моего ума, нет, мой ум достаточно парадоксален и остер, но отнюдь не глубок, иначе я никогда бы не написал столько просто машинописных текстов — никаких не "произведений", проза проституции, подогнанная подо все каноны и догмы конъюнктуры. Это — верлибры полицейского, который стоит на ночной

страже нравственности человечества, а утром — сам уходит в бардак. И вся-то разница только в том, что одни — ночью, другой — утром. Ночью — преступно, утром — простительно.

Писатели превратились в полицейских-идеалистов, которые расследуют нравственность современности на месте преступления, они смотрят на героев-преступников бирюзовыми глазами из-под козырьков своих золотых шлемов и описывают в своих протокольных произведениях преступления своих героев-преступников "с одной стороны" и "с другой стороны" и "всесторонне", стараясь сохранить невозмутимость и объективность.

Попытка объективности. Но ведь объективность — тоже позиция, и, как всякая позиция, субъективна. Значит, объективности — не существует.

Попытка субъективности. Но ведь субъективность — лишь игра в самого себя, а никто самого себя не знает и не узнает никогда, какими бы космическими путями ни развивалась наука самопознания. Да и науки такой быть не может, потому что до конца познать ничего невозможно, а познать "не совсем до конца, но все-таки" — просто вульгарный материализм, философская авантюра.

Что же получается? Все — одни формулы, игра, блеф, иллюзия. Поскольку каждый считает себя высшим существом во вселенной, то и свой способ мышления он считает высшим, а свою формулу существования — самой правильной. Оттого-то мир-иллюзия и блеф, мир-блеф, мир-мистику и случай превращают в приспособленные к современности формулы.

Формулы — символы, идолы, Небо. И не все ли равно, как называется Бог — Магомет или Мао? Суть-то — та же. Не все ли равно, кто там в Небе — Иегова или "Восток-1"? Они — в Небе, они — боги. Не все ли равно, кому строить храм — Зевсу или Ленину? Не все ли равно, каким иконам молиться — византийским или собственным? Все портреты всех вождей все равно религиозно стилизованы.

Не все ли равно, что обещать человечеству: потусторонний мир, которого не существует или превосходное будущее, которое не осуществится? И там и там цель одна: живи сейчас, как живется, не восставай против нас, современных богов, потому что потом тебе будет лучше. А когда для тебя — потом? Никогда. Никогда.

Историю создают не исторические события, а Художники. Если бы не было Художников, не было бы ни богов, ни героев. Что такое историческое событие для будущего? Только — смутно вспоминаемый факт без действующих лиц. Художник дает факту действующих лиц, объясняет факт и лица, идеализирует в силу собственного воображения тот или иной исторический период и — История готова. А люди еще настолько наивны, что свято верят в эти галлюцинации, как в действительность. Тогда они требуют от того же Художника создания такого же мифа о современности (о них!). Желание пошлое, но вполне объяснимое — любая тварь жаждет бессмертья не своим трудом, не своей кровью.

Но что — современность?

Ее не существует. Все, что произошло во вселенной секунду назад, уже такая же глубокая история, как и история бронтозавров или халдейских чисел. Я повторяю: современность существует только в том камне, который кладет строитель — сейчас, в той миллионной доле секунды, когда совершается оплодотворенье. Но камень положен и скреплен цементом, оплодотворенье свершено и ожидается дитя, — все это история, о которой писатель напишет свою версию, а другой — свою, и никто никогда не объяснит и не разберется, как же оно было "на самом деле". "На самом деле" ничего не бывает и никогда не было. Остается только собственное представление об этом "самом деле".

Если бы люди со всей ответственностью относились к своим Художникам, если бы за смерть каждого Творца судьи судили всю

вселенную и самих себя, тогда я имел бы какой-то серьезный смысл в этом мире. Потому что, если бы не было меня, того, кто творит, то над миром не летали бы космические корабли, а летали бы птеродактили.

И совсем не важно, кто я — каменщик, землепашец, садовник, плотник, живописец, поэт, зодчий, астроном, — я люблю свой труд, я — творю, а эта маневренная масса, которая называет себя "люди" — рвет мои мышцы, уродует мой мозг, уничтожает меня, чтобы потом воспользоваться моими трудами или разрушить их.

И поскольку люди ненавидят своих творцов и умерщвляют их, почему, с какой стати творец должен любить людей и оснащать их нервами и интеллектом? Такой стати — нет.

Единственный Герой Всех Времен — Художник. Нужно обладать мужеством Бога, чтобы все знать, ничего не иметь и не требовать и творить — в небытие. У меня такого мужества не хватило, да, думаю, и не было.

Вот почему я бросил писать.

\*\*\*

Мы — антиподы. КИМ бросил писать, а я дисциплинированно пишу и выбрасываю в мусоропровод. Антиподы-близнецы.

КИМ возбужден, глаза расширились и побелели, челюсть дергалась, выставляя волчьи зубы. Я ждал, когда он это прекратит.

— Выход, ты спрашиваешь? (я не спрашивал) — он замахнулся и весь как-то осел. Я не знаю. Я бросил писать и этим нашел для себя хоть какой-то дилетантский выход. Подсказывать остальным — дело остальных. Обойдутся и без меня.

Он взвился на диване, замахал костлявым кулачком и закричал дискантом:

— И вот меня уже приговорили к Голгофе, и вот я уже на Голгофе, и вот уже под моими ногами костер из березовых кирпичей, и первые вспышки бензина обжигают ступни мои, и вот уже я протрубил свой последний вопль:

— Боже, Боже, за что ты покинул меня?

— Прекрати, — заорал я на него, — прекрати, идиот, трубить свой вопль. Или вопи для себя. (Нужно было остановить истерику). Ты сказал "на Голгофе", да будет тебе известно, сэр, там не было ни кирпичей, ни бензина.

Он поморщился.

— Вот-вот. Именно — не было. Именно не было для вас и иже с вами. Он зашелся, вскочил на корточки, на губах блестела слюна, зубы вперед, зрачки белые и как будто прямо над зрачками — встопорщенные волчьи волосы. Он задыхался:

— Никогда... я... не обращался к людям, и в последнюю минуту не обратился к ним, я обратился к своему Богу, к своей бессмертной Душе, но не к толпе последняя молитва, не к ней!

И уже здесь, на Голгофе, вы все равно требуете от меня ответа:

— Где же выход? Где Истина — тот клад, который ты зарыл и отказываешься возратить его людям, чтобы они все на свете уяснили и увидели все ходы иклады?

Кто объяснит, что выходов — нет. Никаких. Клада — нет, его и не было. Никаких ответов Художник не знает. В том-то все и счастье, что я родился на свет, чтобы самому себе задавать вопросы и самому себе на них — не отвечать. Вы — современность, а какая уж там современность, она всегда одинакова — толпа у Голгофы.

К счастью, я так и остался безграмотен и вульгарен и не знаю, почему я родился и для чего, почему я умру и для чего? Ничего мне не объяснили. Для меня остается неясным, повторяю: что будет с моей душой после смерти? Тоже — смерть? Неизвестно.

Еще никем окончательно не выяснен вопрос о, скажем, переселении душ, о той, потусторонней жизни. От этого отмахнулись и назвали "мистикой". А ведь вообще-то, говоря начистоту, — неизвестно: может быть, как раз материализм и есть мистика, а мистика — и есть материализм.

Не будем детьми. Не будем принимать рекламу любой идеологии за действительность. В таком случае бесполезно вспомнить о Циолковском. Как это ни дико "материалисту", а первопричина всех инженерных космических сооружений Циолковского следующая: отец советской космонавтики занимался строительством космического корабля только с одной-единственной целью:

*Транспортировать на другие планеты души умерших.*

Он считал, что Земля перенаселена душами умерших и им необходим выход в Космос.

Сумасшествие? Или сочувствие? Мистика? Или прагматизм?

Во всяком случае, мне приятнее жить с детским убеждением, что после моей смерти я воскресну (душа моя — воскреснет) в каком-то живом существе, чем с убеждением, что уже — никогда — ничего — для меня (моей души) не случайно. А как "на самом деле", ни одной науке не известно.

Не трагайте. Я ни на что не отвечу. Будьте благодарны мне за те мучительные минуты счастья, которые я сумел вам дать своим творчеством. Минуты — в вашем ничем существовании, которое вы называете "счастьем жизни".

Клада — нет. Ищите его — сами. Но вы никогда не будете искать его, потому что он вам не нужен. Вам — явь и яство, Художник — летучая мышь, невидимка, которой нужны лишь иллюзии темноты и солнца да минимальные насекомые для пищи.

КИМ выдохся. Он уже заговаривался и потускнел.

— Белый Дьявол и Черный Бог... — забормотал он. Все, пойдут силлогизмы. Я устал, засыпал, меня тошнило. — У меня уже нет никакого внутреннего мира, — бормотал КИМ, его глаза закатывались, — остались одни внутренности. А там, — он ткнул себя в живот, — там лают псы и хохочут химеры. О Коллективизм — жалкий ублюдок от брака Тифона и Ехидны...

Я его не слушал. Я знал наизусть, что он скажет. Знал я все это и без античных параллелей и меридианов.

Я завязал его в одеяло, вставил в резиновые сапоги, открыл дверную цепочку. Он вздрагивал, шевелился, пошел, всхлиывая, заворачивая одеяло обеими руками, а оно волочилось по цементному полу, малиновая мантия на вате, нет-нет блистали черным блеском резиновые сапоги.

Слова Богу, и руки, и ноги у него заняты.

\*\*\*

Утром выли полицейские сирены и сирены скорой помощи. Это — КИМ! Я выбежал на улицу, перескакивая через несколько ступенек, — он. И три пожарных машины.

КИМ взял напрокат фортепьяно. Он всерьез собирался поступить в Консерваторию (37 лет!) и репетировал сам с собой. Этой ночью он сложил все обрывки своих писательских, композиторских и живописных сочинений, разбросал их вокруг фортепьяно и поджег. Когда взломали дверь, он сидел голый и смеялся у костра. Фортепьяно только тлело и тлел паркет. Погасили ведром.

Он вышел сам: впереди два санитара, сзади два милиционера и КИМ с великолепной волчьей головой, на тонких юношеских ногах — вельветовые штанины, на плечах — собачья куртка, как горностаю императора. На тротуаре он остановился и запел:

— Какая честь! Мне человечество дарит два лимузина! В какой садиться, господи?

У подъезда стояла толпа старух и трепетала.

(Окончание в следующем номере)